

Эмилия Галаган

18+

Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ
ЛУЧШЕ ВСЕХ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ

Рукопись года

Эмилия Галаган
Я люблю тебя лучше всех
Серия «Люди, которые всегда со мной»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67112232

Э. Галаган. Я люблю тебя лучше всех: ООО «Издательство АСТ»;

Москва; 2022

ISBN 978-5-17-146122-5

Аннотация

Я так хочу домой...

Но на той станции поезда, к сожалению, не останавливаются.

Это история взросления – офигения, онемения, озарения, переосмысления – и всего прочего, что может случиться с не слишком умной, не особенно красивой и не отмеченной талантами девочкой, родившейся в конце XX века в небольшом – вымышленно-реальном – поселке городского типа где-то на просторах России.

Содержание

Часть первая	5
Вот моя деревня...	5
Сострадание	18
Училка	30
Бабушка Маша и кто с ней жил	40
На той и этой стороне	49
Воспитание котят	58
Книги, которые нас выбирают	67
Лучшая подруга	73
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Эмилия Галаган

Я люблю тебя лучше всех

© Эмилия Галаган, текст, 2022

© Александр Заварин, иллюстрация на обложке, 2022

© Ирина Кварталова, иллюстрации, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

*Нет травинки внизу, у которой бы не было
ангела, который бьет ее и заставляет расти.*

Талмуд

Часть первая

Вот моя деревня...

My name is Lena Popova. I was born on March 14, 1985. I live in posyolok Uritskogo.

Дом наш двухэтажный, длинный, на два подъезда, с угла осыпалась штукатурка и видны ряды красного кирпича, как мышцы под кожей. Над дверью прибит козырек, с которого зимой всегда свисают сосульки-сопельки.

Лестница деревянная, под ней летом прячут велики и тазы, в которых у колонки стирают белье.

Правда, однажды велик нашего соседа Ильки Наппельбаума уперли, хотя он и старый был очень (велик, не Илька, хотя Илька тоже немолодой). Наверно, велик угнали на ту сторону, за железную дорогу. У нас бы он попался на глаза. Тут все друг друга знают: и люди, и велики.

В подъезде живут кошки, несколько, все родственницы. Наши люди оставляют им еду в мисочках, но кошки дикие, на руки не идут. Я помню нескольких сереньких, как пыль, и одну черную с желтыми глазами.



Сестре они нравились. Она бегала за ними, пыталась поймать. Сестра была такая неуклюжая, пухлая, колготки на попе все время отвисали, как будто она обкакалась. И ремешки на сандаликах всегда затянуты недостаточно туго (не знаю почему, я старалась), так что обувь могла слететь с ноги. Сестра бегала не так, как взрослые, а вразвалочку, труся попой, очень смешно – но быстро. А я ее ловила. Кошки прятались где-то наверху, может на чердаке. Она бежала за ними по ступеням лестницы, а я мчалась за ней, ловила, хватала – она была тяжеленькая – и тащила домой... а сестра ревмя редела, потому что ей не дали поймать котика. Мне казалось, кошки смеялись над ней, глядя откуда-то из темноты светящимися круглыми глазами.

Из садика сестру забирала я. Обычно самым сложным было натянуть на нее колготы, потому что я, как и она, не могла понять, где зад, а где перед. Но если пятки оказывались на месте носков, начинался рев: мировая гармония нарушена. Пуговицы на кофточке ей нравилось застегивать самой. Медленно-медленно, непослушными пухлыми пальчиками. Пыхтя, как будто тащит мешок с мукой. Я переминалась с ноги на ногу – сколько еще ждать. Но если начать помогать – снова примется реветь. Шубу (из искусственного жесткого меха, раскрашенного под леопард, который папа называл «леопёрд») она милостиво позволяла на себя надеть. И шапку. Мне всегда нравилось, как сестра запрокидывает голову,

чтоб я завязала тесемки. Хотя в чем-то слушается.

Я вела ее за руку, мы шли по улице, общаясь друг с другом и с грязью под ногами.

Сестра рассказывала мне про садик. У нее в словах все путалось, а может, я не так ее понимала.

– Мы игали... пеканка с гоошиком... исовали зайку... я спю, а они уууу...

– На чупик!

Чупики мы любили больше всех конфет – их хватало надолго. Если удавалось сходить в магазин и «забыть» отдать маме сдачу, я покупала нам с сестрой чупики.

– Вкусно?

– Угу.

– А вкус какой?

– Угу.

– Клубничка?

– Угу.

– А может, малинка?

– Угу.

– Собачья кашка?

– Угу.

Ну все, от сладкого у нее всегда так: мозги, которых и так немного, вырубаются.

Возле дома во дворе есть качели и песочница, но зимой дети в ней не играют, и это просто кошачий туалет.

Еще у нас посреди двора будка трансформаторная, а

жильцы из дома напротив протянули к ней веревку, на которой сушат белье. Возле дома растет дерево. Я не знаю его по имени-отчеству, просто дерево. На нем сидит слон. Слона, видимо, кто-то выбросил из окна, не знаю, как он там оказался. Он вымок под дождем, уши и хобот поникли. Мне жалко слона, но я не смогу снять его.

Сестра всякий раз обращает на него внимание.

– У-гу! – кричит она, не доставая изо рта чупа-чупс.

– Слоник, – говорю я. – Слоник на дереве. Ему грустно.

Может, теперь она до конца жизни будет думать, что слоны живут на деревьях. Может, она до конца жизни будет жалеть всех, кто мокнет под дождем и грустит. Никогда не знаешь наверняка.

– Хочешь покататься?

Качели мокрые, но она в шубе, не почувствует.

Раскачиваю ее, качели поскрипывают. Железо мокрое, рука скользит.

– Взмыва-а-а-ая выше ели, не ведая преград...

Я пою во весь голос, от холода в горле больно, но я все равно ору.

Сестра подпевает. Чтобы она не повторила ошибку вороны из басни, я забрала у нее чупик и держу в свободной руке.

Мимо идут соседи. Кто-то – на колонку за водой, кто-то в магазин. Всем я кричу:

– Здравствуйте!

Мне нравится это слово. Оно звонкое, как наш большой

железный будильник.

Со мной здороваются, кивают. Вот мимо проходит Тень – так я ее назвала за то, что она всегда молчит и одевается в темное. Про нее я ничего не знаю, но немножко ее боюсь. Вечером она всегда куда-то уходит, я часто ее вижу.

– Еще, еще!

Я катаю сестру до тех пор, пока не устают руки. Потом спускаю ее на землю. Сама того не заметив, сую себе в рот ее чупа-чупс. Но малая уже забыла, что это ее конфета: она видит кошку:

– Котя!

Кто бы мог подумать, что этот ком шубы может так проворно бежать! Я влетаю в подъезд за ней, а она уже топ-топ-топ на второй этаж. Ловким прыжком пытаюсь преодолеть пару ступенек – и падаю, хорошо, что в мягкой куртке, падаю на лестницу, и сестра, задетая моей рукой, падает... Тут же раздается рев, оглушительный, как американское «нооооу» из фильмов, в которых кого-то убивают.

– Ко-о-о-отя!

Волоку шубошар домой, вытираю ему нос и грею суп. Включаю телик. Запах супа щекочет ноздри, реклама веселит душу. Все хорошо.

Под телик едим. Потом я делаю уроки, а она играет с кубиками. Складывает что-то, строит. Она еще не знает букв, и в том-то и прелесть, что иногда все-таки получают слова. Например, в этот раз сложила паровозиком: АПРУСМ-

КОТЫШ, и я ясно вижу котов посреди этого безобразия. Так странно видеть, как иногда из полного хаоса рождается жизнь. Если где-то есть жизнь, то там точно есть коты.

Я пытаюсь решить примеры, грызу колпачок ручки, запи- хиваю его в нос (я знаю, что это тупо, но почему-то хочется).

Ничего не решается. В голове мутится, щеки горят.

Когда приходит мама, она тут же догадывается о нелад- ном, прикладывает к моему лбу ладонь:

– Жар.

Сестра спит на ковре. Она тоже полыхает.

Мы обе заболели.

Мама разносит нас по постелям, раздевает, поит каки- ми-то таблетками, ругает, но я проваливаюсь в сон, где бегаю и бегаю по бесконечным лестницам, а от меня удирают се- рые, как будто слепленные из пыли кошки, которые выскаль- зывают из пальцев, как клочки тумана, и уносятся вперед, видимо, они прячутся на чердаке, а я все бегу за ними, и от- куда-то не пойми откуда доносится детский смех.

Больные сны всегда такие странные.

Я поправилась первая, а вот сестра заболела серьезно. Она много кашляла, задыхалась. От ее кашля никто не мог уснуть. Я думала о том, что в горле у нее, наверное, как будто наш дворник своей корявой метлой с обломанными прутья- ми шкрябает. Мама суетилась вокруг нее, поила сиропом с ложечки. Но однажды, когда сестра особенно долго надры- валась, папа не выдержал:

– Тань, в скорую надо, она ж задохнется сейчас!

Я помню папин решительный вид: он стоял у телефона в полосатых семейных трусах и белой майке, на шее у него на крученой веревочке болтался крестик, который ему когда-то надела бабушка Нина, хотя он и сопротивлялся. Я подумала, какой папа красивый. Не знаю, в чем была та красота. Может, если бы я тогда его сфотографировала, сейчас поняла бы.

Приехали доктора и забрали маму и сестру. Их увезли в больницу, далеко от нас. Мы с папой остались одни.

Папа вставал очень рано, потому что до работы ему было далеко добираться. Он работал инженером на вагоноремонтном заводе. Я не очень понимала, чем конкретно он занимается, но зато от мамы постоянно слышала, что вот нам повезло, папа работает на железной дороге, нам дали жилье, какое-никакое. А так бы теснились с бабушкой в одной квартирке. Я была не против жить с бабушкой и не понимала, чем плохо тесниться (я не догадывалась тогда, что маме с бабушкой жилось настолько тяжело, что проще здесь, в бараке без водопровода).

В окнах было черным-черно, когда будильник начинал надрываться и просыпался папа. Я слышала, как он идет на кухню, как гремит чайником, хлопает дверцей холодильника. Он никогда не включал свет, наверное, думал, что этим всех разбудит (а будил шумом). Уходя на работу, он заходил в мою спальню, ударял по выключателю и кричал:

– Подье-ом!

Я вскакивала, бежала на кухню чистить зубы (у нас не было умывальника в ванной), елозила щеткой во рту и смотрела в кусок зеркала, прикрепленный к дверце шкафчика. Утренние глаза, большие и темные, меня пугали.

Папа подходил, спрашивал что-то вроде:

– Сколько уроков сегодня?

Или:

– Домашнее задание сделано?

Я мычала что-то, а он ерошил мои волосы и весело говорил:

– Та-ак, понятно: поднять подняли, а разбудить забыли! А ну-ка умойся! Давай-давай, а то я сам тебя умою, как маленькую!

Я ненавидела умываться, вода была холоднющая, противные ручейки вечно текли по шее на грудь или спину. Но если я не умоюсь сама, отец и правда плеснет на меня ковшом воды из ведра, так что и волосы будут мокрые, и пижама.

Поэтому я все-таки умывалась – лицо в зеркале становилось мокрым, а глаза – нестрашными.

Уходя на работу, папа говорил на прощание:

– Смотри не опоздай! Двойка – ерунда, а за замечания получишь ремня.

Папа считает, что если человек не опаздывает и не получает замечаний, то все остальное ему можно простить. Но про ремень он просто говорит (я думала, что все папы только грозят ремнем, пока случайно не узнала, что Гордеев отец

бьет его до синяков).

После ухода папы я должна позавтракать, а потом – в школу. Но сейчас, когда мамы нет, все идет как-то не так. В школу совсем не хочется. Папа оставил мне на тарелке пару бутербродов с маслом и сахаром, а на столе – денежку! Ого! Это же целых две жвачки! Праздник!

Тут я окончательно понимаю, что в школу не пойду. Я пойду на станцию, куплю жвачку и буду ее жевать, пузыри попробую надуть. Даже, может, одну жвачку спрячу для малой, чтоб ее порадовать, когда она поправится. Чайник еще горячий, я налила себе чая, позавтракала и, счастливая, пошла одеваться. Заметила, что ведро с водой почти пустое, и в порыве ответственности и самостоятельности, о важности которых так часто говорили взрослые, решила сходить на колонку.

Мама, вообще, не любила, чтоб я ходила за водой.

– Набирай полведерка! Не носи тяжелое! Зачем ты спину рвешь? – ругалась она вместо благодарности, если я таскала ей воду, когда она стирала. – Саша, ну отбери у нее ведро!

Папа вырывал у меня из рук ведро:

– Я носить буду! Иди, матери поможешь полоскать!

Полоскать мне совершенно не хотелось, потому что мыльные, скользкие тряпки были противными, как слюнявые поцелуи (еще в садике я пыталась целоваться с Гордеем, мальчиком из нашего дома).

Но сегодня я вполне могла сходить за водой. Накинула

пальто и вышла (а мама бы сказала: куда, а шапка? а сапоги?). Оттепель, в которую мы с сестрой заболели, сменилась похолоданием. Двор был весь в снегу, на качелях лежал как будто аккуратненький белый коврик, а у слона на дереве из снега получилась шапка-пирожок, вроде той, что носил наш председатель (чего он там председал, я не знала, просто его так звали). К колонке была протоптана тропинка. Две бабки из соседнего подъезда – Гордеева и другая (не помню, как ее звали, у нее нос был как кусок пемзы) – сустились возле колонки. Рядом с ними стояли санки, а на них – пустые ведра. Незапомнившаяся бабка держала лом, а Гордеева – лопату. Бабка с ломом изо всех сил била им по колонке, околачивая лед. Гордеева отгребала в сторону ледяное крошево.

– Чего стоишь? – рявкнула мне Гордеева бабка. – И в тапках! Иди бери, поди работает уже! А ты, – крикнула она своей товарке, – хватит! Еще сшибешь ее к хренам!

Конечно, о том, чтоб набрать полведра, и речи быть не могло. Я не могла уйти с полупустым ведром на глазах у этих могучих бабок. Поэтому я набрала ведро до самых краев, так что при первом же шаге вода выплеснулась прямо мне в тапки.

Дома, ругаясь на себя, я передела колготы, натянула сапоги и куртку, захватила портфель для конспирации – и отправилась гулять.

Я специально пошла в сторону, противоположную школе, – на станцию. Путь пролегал по дорожке через неболь-

шую лесопосадку. Идти минут десять. На стационарном рынке всегда гораздо теплее, чем у нас во дворе, наверное, потому, что там есть много яркого, а у нас одна снежная бель: глаз зябнет. А еще на рынке вкусно пахнет чебуреками, играет музыка из колонок возле ларька, где торгуют кассетами. Я успела поглазеть на все: и на торсы манекенов, обтянутых модными разноцветными кофтами, на веселые погребальные цветы и ларьки со сладостями.

На обратном пути я столкнулась с Тенью. Она прошла рядом со мной, так рядом, что я заметила, как в ее распущенных темных волосах блеснула сединка. Не знаю, что тогда меня дернуло, но я развернулась и последовала за ней. Она шла впереди, ровно, не сбиваясь с ритма, как заведенная. Куда? Мне было интересно (я сыщица!) и немножко стыдно (я шпионка!). Казалось, что она непременно почувствует мое присутствие. Как будто муха какая-то у уха жужжит, вроде того.

Когда мы почти дошли до конца дорожки, впереди уже виднелся угол нашего дома, она вдруг обернулась и остановилась.

Я тоже остановилась.

Она смотрела на меня, а я на нее. Мне хотелось под землю провалиться от стыда.

Она молчала.

«Ты просто идешь от станции домой, иди! – сказала я себе. – Иди же, не стой столбом как дура! Ну!»

Я пошла... прошмыгнула рядом с Тенью, буркнув «дбрв-чр», а она... развернулась и направилась в обратную сторону. Снова к станции.

Она просто ходила туда-сюда. От дома к железной дороге и обратно.

Зачем – непонятно, но она взрослая и может сколько угодно гулять в темноте.

Сострадание

Есть эпизоды, с которых начинается история печали.

Например, когда тебя в песочнице бьют лопаткой по носу или воспитатель в садике кричит непонятно за что. Но у меня вышло другое.

Каждое лето я проводила у баб Нины и дед Гоши в Любомировке. Это такое село, украинское. Там было очень весело, много ребятешек моего возраста – загорелых почти дочерна, быстро бегавших, ловко лазавших по деревьям, делившихся со мной своими сокровищами: вкладышами от жвачки «Турбо», матерными стишками и не только ими – однажды баб Нина обнаружила у меня вшей.

– Ой, лихо, Таня мэнэ засварыть! – Бабушка опасалась, что аккуратистка мама заругает ее за антисанитарию.

Главный баб-Нинин советчик – «Народный календарь» – предложил рекомендацию, к которой после совещания с дедом Гошей (чуть менее главным советчиком) было решено прибегнуть. Вечером бабушка меня тщательно вычесала, протирая кожу у корней волос ваткой, смоченной в керосине, и укутала в платок по-старушечьи. Утром я проснулась от боли – забытый в волосах ватный тампон, пропитанный керосином, оставил на коже головы ожог. Я долго ревела и мотала головой, как собака, которой в ухо попала вода, чтобы избавиться от мучительного жжения, а бабушка, чтоб удоб-

нее было лечить результат ее борьбы со вшами, остригла мне часть волос на пострадавшей стороне. Отражение в зеркале выглядело таким смешным: полустриженная голова, зарезанное лицо, – что я даже забывала о боли – и засмеялась. Общаться со сверстниками мне строго-настрого запретили, и бабушка постоянно следила, чтоб я не удрала огородами на озеро или еще куда.

Тогда-то и завязалось у меня что-то вроде дружбы с соседкой – бабой Раей. Из-за старости она с трудом доходила до лавки, стоявшей на улице у забора, садилась на нее и замирала, как будто превращаясь в неживое. Лавочка была кривая, один край выше другого, доска серая, высохшая, с краю выщербленная, но правильная – мои ноги доставали до земли, когда я на ней сидела, а мне нравилось ощущать под ногами опору, вместо того чтобы бестолково болтать ими в воздухе, как у нас говорят, «чортив колыхаты». Я жаловалась бабе Рае на баб Нину, которая не проявляет должного понимания к моей печали и не пускает меня гулять далеко, рассказывала про то, что мне попалась монетка в варенике, я сломала о нее зуб, но это хорошо, потому что зуб все равно вырастет новый, а в дырку отлично свистеть... Я рассказывала свои сны: из озера выполз огромный слизень, забрался в пустую хату, что в конце улицы, голова торчит наружу и шевелит рожками, как делают пальцами: «У-у-у, очи выколю!» Баба Рая ничего не говорила, просто слушала, сидела как истукан. У нее было совсем коричневое лицо, все в мор-

щинах, как груша из компота. Она носила черную фуфайку, толстую, как одеяло, и шерстяной платок. Я знала, что у бабы Раи есть два сына, уже взрослые, они не ладят между собой, как-то раз один из них даже напал на другого с ножом и сильно порезал – я этого, конечно, не видела, но взрослые рассказывали, – и его посадили в тюрьму, а потом он вернулся, но куда-то уехал. Второй баб-Раин сын жил на другой улице с одной теткой, они гнали самогон и все время орали друг на друга. Раз я шла мимо и слышала, как он кричал на ту тетку: «Сука, гроши дэ? Гроши дэ?» Иногда сын приходил к бабе Рае и орал почти то же самое: «Стара сука, гроши дэ? Гроши дэ?» Это все слышали. Потом, когда я уходила из дому на лавочку к баб Рае, бабушка Нина давала мне кулечек с едой:



– Дай бабуни, а то вона, можэ, голодна... Той прыдурок прыходыв, так пэнсию забрав, це точно!

Баб Нина, не такая старая, как баб Рая, все время делала что-то по хозяйству, никогда не сидела кучей. Я тогда уже начала понимать, что человек что-то вроде заводной ходячей куклы, которая была у моей подруги Катьки: сначала, как его завели, он бодренько топаёт, а потом шаг становится неуверенным, и он замирает. Баб Рая замирала.

Баб Нина очень ее жалела, рассказывала о том, что баб Рая всегда так «бидувала», что от нее к нам даже коты сбегали, потому что у нас было чем поживиться. Бабушка, в отличие от мамы, тактичных умолчаний не делала, от нее я и узнала, что мужа у баб Раи не было никогда, своих сынов она прижила от мужиков из нашего села, чьих-то чужих мужей.

– Тоди врэмя було такэ... пiсля вийны... на такэ увагы нэ звэрталы... цэ зараз воно другэ стало... зараз бабы отаки потаскухы, шо вин тильки подывытыся, а вона вжэ и подола задрала... ой, дытыно, не слухай... а тоди... тоди було всэ другэ...

Бабушка говорила это так, что становилось понятно, что в то «другэ врэмя» всем приходилось несладко и даже она, баб Нина, высочайшей нравственности и культуры дама, не запятнавшая себя ничем и никогда, и то не может судить несчастную баб Раю, которая устраивала свою личную жизнь как могла.

Мама приехала в Любомировку с малявкой Наташкой, ко-

торой недавно исполнилось четыре года, немного поругалась с бабушкой, посмотрела на то, как отросли мои волосы, подравнила их (получилось еще смешнее). Из Заводска мама привезла всякое вкусное (думаю, она немножечко боялась, что ей самой я буду не слишком рада, а вот шоколадке или печенье – очень и очень), в том числе – диво-дивное – гроздь бананов. Разумеется, я пришла на лавку к бабе Рае с бананом. Отломил кусочек, протянула ей. Она не сразу взяла.

– Банан! Ба-нан! Мама привезла! Ба-нан! – прокричала я. Затем откусила от той части банана, что осталась у меня.

Баба Рая поняла, чего от нее хотят, и отправила обломок банана в рот. Прожевав, сказала:

– Добра... добра бамана... мяженька...

Меня так рассмешили ее слова – а говорила она редко, – что я отдала ей остаток банана, а потом принялась объяснять:

– Мама з города привезла... У нас, у городи, всякого продается богато...

Я то и дело вспоминала, как она сказала «бамана», и меня разбирал смех. Бамана! Ха-ха-ха!

Вечером, когда мы уже легли спать и даже утихомирились (то есть я перестала щекотать и всячески донимать сестру), я вдруг подумала о том, какой сегодня был хороший день, какие вкусности привезла мама, и о том, что, когда я вырасту, смогу есть конфеты, печенье и эти самые бананы каждый день. Ведь, когда я вырасту, все будет лучше, чем сейчас, это

всене непременно, – потому что настанет совсем другое время. Но потом вдруг – на другой бок я, что ли, перевернулась? – я подумала, что да, будет у меня и много бананов, и куклы самые разные (ходячие, как у Катьки), и все, что я захочу, все будет, потому что я дождусь его, другого времени, а вот баба Рая, она уже старенькая, совсем старенькая, и хотя никто из моих знакомых еще не умирал к тому моменту, но я уже понимала, что баб Рая не доживет до других времен, когда я смогу щедро поделиться с ней всем, что у меня будет, что она так и проживет до самого своего конца нищую и страшную жизнь, и всего-то хорошего и было в этой жизни, что «добра бамана, мякенька»... И в тот момент как будто ключ повернулся внутри замка...

Я рыдала так горько, что сначала разбудила сестру, которая принялась реветь за компанию, как и полагается ничего не понимающему пупсу, потом мы вдвоем разбудили маму и бабушку, которые сперва испугались, а потом рассердились и кричали на нас и друг на друга тоже, потом пришел дедушка и стал кричать на них...

Сестру унесли в другую комнату, там мама успокоила ее, гремя всеми имеющимися в ее распоряжении погремушками. Со мной легла баб Нина. Я старалась держаться, но рыдания то и дело накатывали, так что я успокоилась только под утро, заснув каменным сном, от которого пробудилась к обеду.

Меня не выпустили на улицу, мама поила меня какими-то

травяными сборами от нервов, а баб Нина тайком от мамы пробормотала пару заговоров. Она была уверена, что какая-то недобрая душа навела на ее излишне веселую и бойкую внучку порчу.

Я не помню больше событий того лета, а на следующее баб Раю я уже не увидела: в ее доме жил гигантский слизень, его рожки торчали на улицу и шевелились, как будто он грозился всех забодать.

Но с того вот странного вечера я поняла, что такое сострадание, как оно отнимает счастье, как одним вздохом гасит смех, будто свечку, и каким бы счастливым ни оказалось будущее время, справедливым оно не покажется.

Через несколько лет, хотя по детскому восприятию времени можно сказать – эпох, я угодила в заводскую областную больницу, в гнойное отделение. Дело было на излете летних каникул, в августе, когда уже потихоньку начинает точить душу мысль о скором начале учебного года и хочется нагуляться на полную катушку. Меня положили в больницу – смешно сказать! – из-за прыща. Точнее, из-за того, что после неудачной попытки выдавить прыщ на лбу образовался нарыв. Какой пустяковой ни казалась мне эта болячка, а врачи (и мама, конечно же) решили, что нарыв надо вскрыть и даже поддержать меня в больнице с недельку или две. Я неимоверно, фантастически страдала: у меня отняли остатки каникул, самые сладостные дни на доньшке лета. Проклятый гадкий прыщ! (О том, что я сама виновата и мама предупреждала,

что не надо давить прыщ грязными руками, я, конечно, старалась не думать.)

Со мной в палате лежала девчонка по имени Валя. У нее были странно широко расставленные глаза, приплюснутый нос и по-лягушачьи растянутый рот. Валя с гордостью показывала всем два алых круга свежей кожи вокруг колена: «Во! Туда пихали трубку!» (Ей делали операцию из-за нагноения кости.) Валькина нога уже зажила, но она продолжала ездить по больнице на кресле-каталке. Иногда мы с Валькой, еще один мальчик на инвалидном кресле и его друг устраивали забеги по больничным коридорам. Я катила Валькино кресло, а того другого мальчика катил его друг. Мы соревновались, чья команда быстрее доберется до конца коридора, а высшим пилотажем считалось на бегу погасить свет в кабинете у докторов. А чего они на нас ругались?! Валька была смешная. Уверяла, что ей целых пятнадцать лет, но совсем плохо читала.

– Тебя петух в лоб клюнул? – спрашивала она про мой заклеенный лейкопластырем лоб.

С ней было так весело!

– Хочу тут жить, тут не бьют и кормят, – то и дело говорила Валька. – Пусть мамка не едет. У нее пять Валек, ей хватит. А я тут буду! И школы никакой!

Все медсестры и доктора знали ее и ругались, что ее уже надо выписывать, но из деревни за ней никто не приезжает – вот она и наглеет.

В конце концов Вальку забрали (тогда я впервые услышала слова: «социальные работники»). Причем увели ее, когда меня не было рядом, от чего я почувствовала себя обокраденной: у меня вот так взяли и отняли друга. Навсегда. Без права переписки.

Я осталась одна в палате ненадолго: сначала принесли большую детскую кроватку – с высокими железными бортами, похожую на клетку. А потом пришла женщина, тихая такая, со свертком, который оказался младенцем. Когда она развернула его, я увидела на животе младенца пятно от зелени и обмерла от ужаса: он совсем недавно родился, получается! Совсем свежий ребенок! Почему вообще младенцев кладут с такими взрослыми, как я? (Да кто его знает, странное наше здравоохранение.) Несколько раз женщина обращалась ко мне с просьбами: то расстелить пеленку, то что-то подать. Я старалась действовать аккуратно, а когда ребенок спал – не шуметь. «Не бойся, он пока не слышит», – сказала мне тогда женщина, и мне стало еще жутче: не доделанный до конца ребенок! Потом его и вовсе забрали из нашей палаты в реанимацию, а женщина целыми днями просто лежала на кровати, в одежде, свернувшись, и ни на что не реагировала.

Я не знала, чем себя занять: Вальки не было, мальчишка на инвалидной коляске тоже куда-то подевался, поэтому я выходила из палаты и шла куда глаза глядят. Больница большая, со множеством этажей, коридоров, лифтов, лестниц и

тупиков – и всякий раз я уходила со знакомой территории со страхом заблудиться, а может, мне этого и хотелось, и я долго слонялась по коридорам, спускалась по лестницам, совала нос во все приоткрытые двери, но каким-то странным образом всегда возвращалась на свой этаж, к своей палате. За время этих моих блужданий никто ни разу не окликнул меня, не спросил, что я делаю не на своем этаже, не накричал, не приказал идти к себе в палату. Тогда я, может быть, испугалась бы, расстроилась, выпала бы из оцепенения и точно потерялась бы, но какая-то странная сила укрыла меня невидимостью, привязала к моей палате, возвращая туда раз за разом.

Женщина лежала на кровати.

А я не могла.

Потом меня выписали и за мной приехала мама. Она пришла в палату, когда я была в очередном заплыве по больничным коридорам. Возвращаюсь, вхожу, а мама о чем-то говорит с той женщиной (расспрашивает? утешает?) – и тут же мне:

– Собирайся, Лен.

Когда мы ехали в автобусе на вокзал, чтобы вернуться в Урицкого, я спросила маму:

– Ребенок... поправится?

– Не знаю. Там все серьезно.

– Вальку забрали. Она хотела жить в больнице, а ее забрали.

– Девочке лучше будет в интернате. С ней специалисты должны работать.

– Она хорошая.

– Никто ее не обидит. Не переживай.

Я молчала. Меня злило, что мама так спокойно ко всему относится. Может, она и была права. Но я-то знала, что во всем этом есть какая-то обреченность, как будто, однажды выйдя из дома, мне суждено будет вновь прийти к дверям своей палаты – и увидеть пустую железную кровать с высокими бортами, похожую на клетку, и другую кровать, обычную, на которой лежит, свернувшись калачиком, женщина – и она не знает, выживет ли ее ребенок.

А Валька, которую забрали чужие люди, никогда не попадет домой.

Я никогда не переставала плакать, хотя была самым веселым ребенком в Урицком и Любомировке.

Училка

Я сидела за одной партой с Катькой Электричкой.

У нас в классе было четыре Катьки, в таких условиях прозвище неизбежно.

Когда мы ездили в пятом классе в Заводск на экскурсию, учительница притащила нас на вокзал задолго до отправления электрички. Сначала прошел один поезд, потом другой. А Катька не умела ждать, поэтому подпрыгивала на месте и кричала:

– Э-ле-ктри-чка! Э-ле-ктри-чка!

Точнее, мы втроем прыгали и кричали: я, Катька и жирная Илонка (она вечно примазывалась).

Хотя звали электричку мы хором, прозвище прилипло только к Кате, наверное, потому, что у нее голос очень громкий.

Пока я болела гриппом, к Катьке за первую парту села Илонка, которую все не любили. Объяснить, в чем причина нелюбви, никто не мог, поэтому просто обзывали ее жирной. Учителя думали, что Илонку обижают из-за внешности, и жалели ее, даже оценки завышали. Так она выбилась в хорошистки, но окончательно утратила последние симпатии одноклассников, хотя и продолжала набиваться ко всем в подружки.

– Ура, Ленка! – Когда я наконец-то пришла в школу, Кать-

ка была мне дико рада. – Илон, уходи, Ленка вернулась!

– Привет, Лена! – процедила Илонка и стала собирать свои вещи с парты. – Выздоровела?

– Ага! – бодро сказала я. – Отлично поболела!

– О, смотри, что у меня есть! – Катька достала из рюкзака бумажный кулек.

Семки. С ними школьное руководство вело безуспешную борьбу. Семками заплевывали полы в классах и в школьных коридорах. За семки могли вклеить замечание в дневник и поставить двойку по поведению. Про семки рассказывали истории одна другой страшнее: типа торгующие ими бабки, пока обжаренные семки еще теплые, греют в них свои старые ноги, чтоб кости меньше болели... Все кривились и фуккали, слушая такое, но семки все равно щелкали. В первом классе было заведено, увидев человека с кульком семок, подойти и нагло запустить в кулек руку, говоря «Ленин сказал: делиться надо!», на что самые изобретательные придумали ответку: бить такого любителя чужого добра по руке со словами: «Сталин сказал: имей свое!» Конечно, Илонка не стала поминать Ленина и Сталина (мы не в первом классе!), но так жалобно посмотрела на Катьку, что та и ей отсыпала пригоршню семок. Я уселась за парту, а Илонка стала у меня над душой. Семки нас сплотили.

– Не плюй на пол! – Меня пугало, что Илонка может намусорить, а обвинят нас с Катькой.

– Я в руку, вот! – Илонка сунула мне под нос пригоршню

с шелухой. Ногти у нее были красно накрашенные и облупленные, фу.

Звонок прозвучал так неожиданно, что выбросить мусор мы не успели, пришлось просто так высыпать его в рюкзаки.

Но урок начался с внезапного: русичка обнаружила, что ее сумка, стоявшая на столе, открыта и из нее пропал кошелек.

Училка была совсем молоденькая. Худенькая такая, у нее брюки сзади смешно обвисали из-за того, что были не по размеру. Волосы всегда в хвостик собраны, и казалось, что их мало, как у дешевой китайской подделки под Барби. Она стояла перед нами и стучала по столу тонким длинным пальцем:

– Кто взял? Кто взял? Кто?

Мы с Катькой сидели за первой партой, которая не то что рядом с учительским столом – она к нему вплотную придвинута. Мы видели, что к сумке не притрагивался никто. И мы тоже ее не трогали.

Не добившись от класса признания, русичка ушла и вернулась через пару минут с одноглазой завучихой, которую боялись все.

– Молчите, значит? – Ее единственный живой глаз искрил гневом, и она напоминала Терминатора. – Покрываете вора? Хор-рошо... Попова! Ксенофонтова! Пойдемте-ка со мной!

В кабинете завуча нас допрашивали целый час. Содержимое рюкзаков вытряхнули. Учебники и тетрадки были, как тараканами, облеплены черной семечковой шелухой.

– Они меня ненавидят! Весь класс! – кричала училка. –

Это какие-то асоциальные элементы, а не дети! Потенциальные преступники! То есть настоящие преступники!

– Кто взял? Попова! Скажи, а не то хуже будет! – Оба глаза завучихи – живой и мертвый, стеклянный, – смотрели так, что у меня леденело в животе.

– Я не знаю.

Я и правда не знала, кто мог взять этот чертов кошелек. Я всю перемену лузгала семечки. Я думала только о том, чтоб мне не влепили замечание из-за них. Не знаю, как это работает, но в какой-то момент мне захотелось сказать, что кошелек украла я. Я даже поверила в то, что сейчас засуну руку в карман, а он там лежит. Я не знала, как он выглядел, поэтому мне представлялся мамин – красный, лаковый, с ободранными уголками. Я изо всех сил представляла этот кошелек, как будто, если б он сейчас материализовался у меня в кармане, я смогла бы его отдать и уйти домой. Я злилась на себя из-за того, что я его не брала.

Нас отпустили, потому что училка разрыдалась.

Она кричала, что мы чудовища.

Завучиха выгнала нас с Катькой из кабинета.

Нам не только влепили замечания, но и вызвали в школу родителей.

Вопреки моим страхам, папа не ругался. Сходил, послушал, а потом сказал только:

– Ну не сдала, и молодец. Воровать плохо, но стучать – еще хуже. Это кто-то из мальчишек был?

Я вздохнула:

– Я не видела.

Он улыбнулся с гордостью:

– Молодец. Уж если не сдавать, так до конца.

Русичка вlepила всему классу двойки в журнал. Колонку двоек, стаю лебедей.

Со следующего года русский у нас вела новая учительница, но та, обворованная, еще раз проявилась.

Был зимний вечер, конец второй четверти... Если ручка не пишет, нужно достать стержень, а из стержня – металлический кончик, а потом аккуратно подуть... Только не слишком сильно – иначе густая чернильная капля сорвется и шлепнется на лист, пропитает его насквозь. Вот такого цвета небо было в тот зимний вечер, когда мы с Катькой решили после школы сходить на ту сторону. Точнее, нас позвала Илонка, у которой там бабушка жила. Буквально пару домов пройти от станции, там еще дерево росло сухое – и сразу поворот на ту улицу, где Илонкина бабка.

С этим деревом была страшилка связана. Типа старшеклассники в прошлом году на русичку молодую напали – и на нем повесили. Она кому-то двойку поставила в аттестат. Вроде как двоюродному брату Гордея. Тому лысому, который считался страшно опасным. Гордей про него всякое рассказывал, хвастался, чуть не лопался. В общем, говорили, что училка пошла на принцип и не поставила ему тройку. А он со своими дружками напал на нее – и все. Повесили ее на

шарфе. Она городская была, каждый вечер в Заводск уезжала, вот на станции ее и подкараулили...

Шли мы с Катькой и Илонкой из школы, обсуждали, какие придурки Гордей и Каща, удравшие с последних двух уроков, смеялись, на ледяных лужах скользили, падали, вставали, пальто в снегу, в карманах снег, за шиворотом снег... где варежка? Девочки, посмотрите, не видите красной варежки? А, вот она!

И тут вдруг Илонка сказала:

– Ой, девочки, сейчас самое главное – мимо того дерева пройти...

– Давайте пробежим! – предложила Катька. – Вжух, и готово!

– Главное – не смотреть!

Говорили, что некоторые люди видят на дереве труп учительницы. В черном пальто. Качается туда-сюда. Ух, страшно! Да, лучше всего – бежать. Не смотреть вверх. Ни за что!

Дорожка была узкая, мы друг за дружкой выстроились, сгорбились (так бежать удобней, когда портфель за спиной) и побежали.

Сначала заорала Илонка, потом ее вопль подхватили остальные.

На дереве висела учительница!

Я увидела только какое-то темное пятно. Движущееся.

И бросилась бежать. Катька с Илонкой рванули вперед, к дому бабки, а я повернула обратно, к станции. Ноги несли

меня сами – подальше, подальше. Несколько раз я поскользнулась, упала, вскочила и припустила сильнее. Хотя на физре у меня за бег выше тройки не было, но тут...

Только когда станция осталась далеко позади, я остановилась, чтобы перевести дух.

А вдруг привидение захочет преследовать меня и здесь? Что ему помешает-то? Железная дорога? Едва ли... Я старалась идти быстро. В боку колело. Дыхание сминалось. Нет, она не могла перейти железку и пойти вслед за мной, она не... а вдруг могла?

Только дома я немного успокоилась. Но... мой стол стоял у окна. А вдруг привидение прилетело сюда? Вдруг я посмотрю в окно – а там оно?

Поэтому я села делать уроки на кухне: там от окна меня закрывал холодильник.

– Что с тобой такое? – спросил папа. – Сама не своя. К стене все жмешься. Случилось чего?

Я знала, что папа не верит во всякое такое. Но мне так хотелось поделиться с кем-то, да и просто – мне было слишком страшно. А папа – он мог от чего угодно защитить.

Перескакивая с пятого на десятое, я рассказала ему про привидение учительницы.

– Нда-а, – сказал он задумчиво. – Ну ты даешь... А тебя-то саму ничего не смущает в этой истории?

– Смущает, – сказала я. – Я вот подумала: ведь экзамены у старшеклассников летом... а привидение было в пальто...

Папа засмеялся:

– Ну ты чудачка! Ты вот мне скажи: ты-то этой учительнице что-то плохое сделала? Чем-то ее обидела?

– Не зна-аю... думаю, она поняла, что тогда кошелек взяла не я...

– Чего же ты ее боишься тогда?

– Просто боюсь.

– Это я уже понял. Только ты подумай: если привидение – это душа умершего человека, зачем ему обижать тебя, если ты ему ничего плохого не сделала?

Я молчала. В моей голове бродила мысль, которую трудно было сформулировать. Хотелось сказать, что ведь можно сделать кому-то что-то плохое ни за что, просто так... по-привиденчески.

– Я боюсь, – повторила я.

Папа вздохнул:

– Ну что с тобой поделаешь!..

Зазвонил телефон. Катька, ругаясь и смеясь, рассказала, что это удравшие с последнего урока Гордей и Каща напугали нас – специально повесили на дерево старое пальто. Они знали, что Илонка почти каждый вечер ходит бабку проводить. А про нас с Катькой они были не в курсе, хотели только Илонку напугать. После моего бегства Катька и Илонка прямо-таки налетели на Гордея с Кашей, которые вышли к ним из-за поворота. Они даже подрались в шутку, а потом все вместе попили чаю у Илонкиной бабки. Катька для меня

пирогов взяла.

Я почувствовала себя душой. Было как-то не смешно. Папа слышал Катькин голос в трубке и все понял.

– Пойдем математику решать, – только и сказал он.

Мы пересели за письменный стол в комнате, и я даже сделала уроки, правда, от вида ночи за окном мне по-прежнему было как-то не по себе.

Мама пришла поздно, она ездила в Заводск по делам и вернулась на предпоследней электричке. К ее приходу я уже лежала под одеялом.

Папа вкратце рассказал ей о случившемся.

– Учительница... а, я знаю, мне рассказывали... она из их школы уволилась... молодая, не выдержала, у нас тут не те нравы... только никто ее не вешал... толпа придурков с той стороны и вроде кто-то из наших... схватили, скрутили... напугали, один, говорят, достал опасную бритву и сказал: «Сейчас тебя налысо обреем, а будешь вырываться – зарежем». Она все-таки вырвалась, убежала... Наверно, зайкой останется, какая там работа в школе!

Налысо обреем! Лысая училка! Худющая, длинная, в брюках, отвисших на заду... и лысая...

Притаившаяся под одеялом, я не выдержала и хрюкнула от смеха.

– Лена! – одернул меня папа. – А я думал, ты спишь! И чего тут смешного, а? Я-то думал, ты у меня чрезмерно добрая, чувствительная девочка, а ты!

Но я ничего не могла ему возразить – так меня скрючивало от смеха.

– Ты чтоб больше не ходила там! – набросилась на меня мама. – Потащила на ту сторону! Зачем? Делать нечего?

Кое-как успокоившись, я заснула – но снилось мне что-то тревожное, нервное, как будто я сижу за столом, пишу, а за окном что-то стучит, мечется, и я понимаю, что это призрак лысой учительницы, и я говорю себе: «Так она ведь жива!» – но от этого он не утихает, и я знаю, что стоит поднять глаза – я его увижу, и мне будет страшно, страшно, страшно, потому что теперь я – перед ней виновата...

А брат Гордея, как оказалось, просто ушел после школы в армию. Потом он вернулся, ввязался в какой-то криминал, и его убили. Гордей им очень гордился и часто вспоминал, хотя от этого не было толка: мы уже не боялись.

Бабушка Маша и кто с ней жил

– Лена!

Я сидела за столом и решала очень сложную задачу: как бы выглядела моя подпись, если бы меня звали Паола Линьярес. На последней странице тетрадки уже были подписи за Дарью Красноперекопскую и Елизавету Май. Для себя самой – Елены Поповой – я уже придумала пять вариантов подписей, а окончательный выбор решила отложить до того дня, когда буду получать паспорт. Мне нравилось выдумывать подписи разных людей – случайных знакомых или героев фильмов и книг. Хотелось, чтоб по подписи – по нажиму, наклону букв, их округлости или остроте, по сплошным или прерывистым линиям – можно было создать образ человека: Дарья Красноперекопская в моем воображении была серьезной девочкой в школьной форме (ее имя я прочитала на формуляре библиотечной книги и знать не знала, какая она), у Елизаветы Май были вьющиеся волосы, она жила в соседнем подъезде и только недавно научилась говорить, а Паола Линьярес обитала в сериале и строила всем козни.

– Лена! Хватит заниматься ерундой!

Мама положила руку мне на плечо, нагнулась и сказала у самого уха, так что шею защекотало ее дыхание:

– К бабушке! Сегодня вы едете к бабушке Маше!

Я вздохнула и закрыла тетрадь. Бабушка Маша жила в За-

водске. Нас с сестрой отпускали к ней вдвоем: я считалась достаточно взрослой, чтоб проехать на электричке, а потом на автобусе.

– Я уже Наташку одела, а ты тут возишься... пока ты оденешься, она уже созреет...

Наташка – одетая в толстые вязаные штаны, платье и кофту – ныла что-то бессвязное, но я понимала, чем она недовольна: ей не хотелось к бабушке. В прошлый раз сестра стащила там помаду – красивый футлярчик с тонкой золотой полоской посередине. В нем и помады было всего ничего: бабушка аккуратно выковыривала помадную массу спичкой и размазывала по губам. Когда сестра навозюкала свои губешки темно-бордовым, я чуть не умерла со смеху. Бабушка быстро обнаружила пропажу и позвонила маме, которая нашла помаду у Наташки в кармане. Так что сегодня сестре перед бабушкой очень стыдно.

– Не поедем, давай не поедем! – ноет она мне. – Давай опоздаем!

Мы вышли из дома и идем на станцию, сестра нарочно упирается, я как будто камень за собой тащу.

– Нат, – говорю я, – а давай поиграем!

– Во что?

– Давай загадаем по желанию, и если насчитаем по дороге я – пять беременных женщин, а ты – пять летающих коров, то наши желания сбудутся!

– Чего?

– Говорю тебе: я должна насчитать пять беременных женщин, а ты – пять летающих коров!

Она все-таки задирает голову на секунду:

– Коров? – а потом решительно произносит: – Нет!

– Ну а что ты хочешь считать?

– Бабочек!

Сейчас, вообще-то, зима, и считать бабочек не менее безумная идея, но я соглашаюсь.

Я всегда придумываю такие игры, чтоб не было скучно. У меня их много, всегда можно использовать что-то, если стоишь в очереди, едешь в транспорте или потеряла ключи и ждешь маму под дверью квартиры.

Сестра сосредоточенно ищет бабочек, вертя головой (между прочим, это не так уж просто: мама туго замотала ее шарфом). Мне ее даже немножко жалко становится:

– Зачем тебе бабочки? Знаешь, можно считать лысых или красные машины!

Но она не идет на понижение ставок. Логично – чем сложнее задание, тем выше вероятность того, что желание сбывается.

Мы идем через рынок возле станции. Я крепко держу сестру за руку, чтобы не потерять. Главное, когда мы вместе, не разжимать руку – так учил меня папа. А тут, на рынке, всегда толпа.

– Раз! – Она машет куда-то в сторону.

В киоске на стекле среди множества наклеек я действи-

тельно вижу бабочку. Ничего себе! Вторая бабочка оказалась заколкой в волосах одной девочки из очереди за билетами. Третью сестра заметила в книжке-раскраске, которую демонстрировал продавец всякой чепухи из электрички. Бабочка промелькнула, взмахнув крыльями (ф-ф-фух!), – торгаш перелистывал страницы с бешеной скоростью, тархтя, как из пулемета, но все-таки сестра уцепилась за бабочку взглядом и крикнула мне:

– Три!

Четвертую мы поймали, когда электричка проезжала мимо детсада. Среди странных существ, сооруженных из автомобильных покрышек, труб и тазов, была огромная бабочка с крыльями, вырезанными, кажется, из жести. Выкрашенная в яркие цвета, она пугала размером и мощностью. Взмахни она крыльями, раздался бы металлический скрежет.

И наконец, пятую бабочку сестра создала сама. Во дворе бабушкиного дома она нашла кусок кирпича и нарисовала на асфальте нечто напоминающее бабочку: толстую колбасу с усиками и крыльями. Я даже не стала говорить, что так нечестно: меня поразило ее упорство. К тому же я сама так увлеклась поиском бабочек, что и думать забыла о беременных женщинах. (Впрочем, я даже желание не загадала. Такое со мной случалось регулярно: игр можно придумать много, желаний не напасешься.)

– Ругаться не будет! – уверенно сказала сестра. Видимо, такое было ее желание.

Бабушка и правда спокойно приняла Наташины извинения – и помаду, конечно. Там еще можно было чуток наковырять.

Оставаться надолго у бабушки Маши мы не любили. Да и ей, мне казалось, не нравилось, если мы задерживались. В ее квартире как-то неудобно жилось, и тапочки всегда соскальзывали с ног. Иногда в человеческое жилье набивается столько всякого, что ему, этому всякому, неохота даже делиться с человеком воздухом. В бабушкиной квартире жили она сама, фотографии, засунутые за раму зеркала в зале, книги в шкафах и Лицо в ванной.

Сама ванная была крохотная, выложенная потускневшим белым кафелем, сантехника рыжеватая, как зубы курильщика. Из крана текла вода с ржавчиной, пить нельзя, не то что в Урицком, где можно было хлебать прямо из-под колонки. На стеклянной полочке над раковиной стоял стаканчик с зубными щетками, лежали тюбики с пастой и какие-то крема, назначения которых я не знала, просто выдавливала их по чуть-чуть на руку – воровато, совсем по капельке, – размазывала и вдыхала вкусные запахи. Мама таким не пользовалась: ей самым приятным запахом в мире казался наш хвойный освежитель воздуха. Сначала мне нравилось задерживаться в ванной у бабушки Маши чуть дольше, чем нужно. Наташке тоже. Она становилась на цыпочки, чтобы открыть кран, и долго-долго мылила руки ароматным бруском. Сестра обожала пену. Иногда пены набиралась полная раковина,

как сугроб.

Однажды мы смотрели кино, а бабушка варила наш любимый суп, праздничный, с лапшичкой и фрикадельками. Она крикнула из кухни:

– Мойте руки и идите есть!

Меня дважды звать не надо (тем более что еды всегда было мало), я побежала мыть руки, а точнее – быстро сполоснула их, вытерла о себя (зачем же пачкать мягкое, белое полотенчишко?) и юркнула в кухню.

Сестра досматривала кино. Она сидела на ковре, поджав ноги под попу, и кажется, даже не услышала слов бабушки. Шел сериал про красивых, но глупых людей, которые сто пятьдесят серий мусолили проблемы, которые двенадцатилетняя я могла решить в два счета. Ну так мне тогда казалось. (Как они не понимали, что эта мерзкая Паола Линьярес во всем виновата?!)

Я уже доедала суп, когда бабушка выглянула из кухни:

– Наташа, почему я вынуждена повторять?

Бабушка Маша никогда не кричала на нас. Она была уравновешенная и воспитанная, потому что родилась в Ленинграде, а не в Заводске. Еще она рисовала себе очень ровные брови-дуги. Мне казалось почему-то, что секрет ее спокойствия в них. Они делают лицо, как колонны делают здание. Когда твое лицо как здание с колоннами, ты не можешь кричать «А ну-ка быстро!» или «Ты что, глухая?»

Сестра встала с ковра и поплелась в ванную. От долгого

сидения у нее аж ноги заплетались.

Я услышала звук льющейся воды, а через несколько секунд – крик, как в тот раз, когда я пыталась отобрать у нее куклу, или как в тот, когда она пыталась отрезать кусок хлеба и попала по пальцу, или когда побежала за котом и упала. В общем, ее обычный крик, к которому я привыкла.

Она вылетела в коридор – а я влетела в него из кухни ей навстречу.

– Там... там...

Я заглянула в ванную.

– Все в порядке там. Чего кричишь?

– Там... в зеркале... лицо... страшное...

– Ничего там нет! Ну... не бойся! – Я обняла ее. – Пошли, на кухне руки домоешь!

Она дрожала как под током:

– Я смотрю, а оно там... белое...

– Ничего там нет! Бабушка будет сердиться, если не успокоишься! Пошли есть!

Я отвела сестру на кухню, где бабушка строго-вопросительно посмотрела на нас, но я пояснила:

– Она маленькая. Испугалась отражения в зеркале. Когда снизу вверх смотришь, такое бывает...

Сестра помешала ложкой суп. Есть не хотелось. Какая еда, когда только что чуть не умерла от страха!

Бабушка, поджав губы, покачала головой.

Не выдержав ее осуждающего взгляда (для бабушки, пере-

жившей страшный голод, еда была священна; чопорная баб Маша после обеда аккуратно сметала со стола в пригоршню крошки и отправляла в рот странным вороватым движением), сестра зачерпнула супа и поднесла ложку к губам. Волшебный запах оживил ее аппетит: она шмыгнула носом, а потом втянула в себя суп, громко хлюпнув. Баб Маша покачала головой, но ничего не сказала.

Я никогда не рассказывала сестре, что тоже видела его. Лицо. Тогда, заглянув в ванную, я увидела его в зеркале. Оно висело в пустоте темного дымного зазеркалья. Белое лицо-кукиш. Вроде того, что в телике жило когда-то, но – живое, не какой-то слепок. Белоглазое, но видящее. Оно существовало.

Я не хотела, чтоб сестра боялась. Я должна была бояться за двоих – я старше и умею бояться молча, это как не ежиться, когда бирка с одежды тебе спину колет: сначала мучишься, а потом привыкаешь.

Спустя много лет бабушка Маша заболела, и я стала жить с ней. Отчаяние убивало ее душу, а тело рушилось от старости. Никакие колонны не удержат обваливающуюся крышу. Но я жила с ней, следила, чтобы она не забывала выключить газ и не ушла из этого мира в компании со всеми остальными жильцами дома.

И пока я жила с ней, я боялась Лица и не поднимала глаз на зеркало в ванной. Я знала, что оно там. Я видела его перед собой в воображении: мертвая жизнь – таким оно было.

Я бы предпочла видеть живую смерть, но выбирать не приходилось.

Сестра после того раза больше его не видела. Хотя потом, после того как я уехала из Заводска в Питер, она вышла замуж и вместе с супругом поселилась в квартире бабушки Маши.

На той и этой стороне

Когда мы были мелкими, я придумала такой розыгрыш: иногда посреди фразы вдруг переставала говорить вслух, а только шевелила губами. Маму это бесило, один раз она даже вlepила мне затрещину. Это было уже после смерти папы, и я не обиделась. Мама не знала того, что знал и умел папа (он сам придумал такой способ поддержания шутки): когда я начинала беззвучно шевелить губами, нужно было всего лишь сделать рукой такой жест, как будто усиливаешь громкость радио, – повернуть ручку пару раз. Тогда я начинала говорить громче, даже орать могла начать. Иногда мне казалось, что с мамой у нас всегда так, – я беззвучно шевелю губами, а она не слышит. Вообще без разницы, говорю я или нет.

Папа был другой. Он умел и молчать, и говорить правильно.

– Па-ап, па-ап! Нам ску-у-учно, па-ап!

Сестра всегда присоединялась, когда я начинала канючить, спасибо ей за это.

– Па-ап, па-ап! – сигналили мы хором, как машины в пробке.

– Ну чего?

– Расскажи...

– Чего?

– Чего-нибудь...

Я смотрела на папу, сидя у его ног на ковре. Сестра рядом играла: пыталась переставлять ноги куклы, типа она идет по ковру. Голова куклы была повернута назад, как у человека, который живет прошлым, – как у меня сейчас, когда я вспоминаю тот вечер.

– Тебе рассказывай... У тебя в одно ухо влетит – в другое вылетит!

– Нет! – Я изо всех сил замотала головой. – Не вылетит! Честно-честно!

– Не вылетит? Ну посмотрим! Что же вам рассказать... ну вот, пожалуй, сказку...

Мама читала нам сказки из книжек. В них было много героев: принцы и принцессы, колдуны и ведьмы, драконы, говорящие животные и растения и вообще много всякого такого, что я потом встречала в жизни в самых неожиданных местах. В папиных сказках был всего один персонаж – Дурак. Когда папа первый раз начал:

– Жил-был Дурак...

Я спросила:

– Иван?

А папа сказал:

– Нет, не Иван. Просто Дурак... он жил на другой стороне.

На другой стороне был частный сектор. Люди с той стороны считали неправильными нас, потому что мы жили в тесных квартирах, а мы считали неправильными их, потому что

они держали коров, сажали огороды и гнали самогонку. Хотя за самогонкой (а еще за картошкой и другими овощами) мы к ним исправно ходили, многие тогда и выживали-то только за счет добрых отношений с сельчанами.

– Жил Дурак на другой стороне. Работал у нас на заводе. Работал как все. Только не нравилось ему. Платят мало, да еще и с такими задержками, что как бы не сдохнуть, пока зарплаты дождешься... Порой и кушать нечего... А он хотел, чтоб ему на все хватало. Ну, там машину чтоб купить...

– «Мерседес»? – Я из машин только «мерседес» и знала. В анекдотах на нем ездили новые русские.

– Ну, ему и «жигулей» бы хватило... хотел, значит, же не шубу справить... что еще... видеомаягнитофон... телефон этот... здоровенный, с антенной... ну, в общем, подумал как-то Дурак: вот есть у нас в поселке один мужик богатый... у него денег просто куры не клюют... а что, если я влезу к нему... ночью, когда он спит... у него ж, наверно, можно и денег найти, и добра всякого... взял Дурак мешок и как-то ночью и полез к тому мужику в дом... руку в форточку просунул, окно открыл и влез... смотрит: мужик и жена его спят, храпят, животы колышутся... а на спинке стула пиджак висит, а в пиджаке, в кармане – кошелек. Ну Дурак взял свой мешок и давай туда все кидать, что увидит: и видеомаягнитофон, и салатницу хрустальную, как у нашей бабушки, и шапку меховую, и часы, что на комодe лежали, даже на кухне в холодильник заглянул и банку варенья упер... и тут вдруг у

него под ногой половица как скрипнет! А тот мужик во сне как повернется, да как чебурахнется с кровати! У Дурака-то сердце и упало, он от страху как рванул, аж собой дверь вынес, летит, мчится, только пятки сверкают!

Мы с сестрой катались по ковру от смеха. Это же так же смешно, как Том и Джерри, только не кот бежит за мышью, а мужик несется за Дураком.

– Дурак бежит, мешок с добром его по спине лупит... а мешок тяжеленный, он туда добра всякого нагреб... тут добежал он до нашего моста, что над путями, взбежал вверх, запыхался... а по лестнице железной мужик топочет, аж гудит под ним мост... тут Дурак и не выдержал – швырнул мешок с моста, да и припустил что есть силы... летел так, что домой добрался раньше, чем у нас будильники прозвенели... Что, малявка, – папа нагнулся и посмотрел мне в глаза. Я все еще смеялась. – Все хохочешь? Ой, хохотушки-погремушки! Поняли, о чем сказ?

В другой день, когда мы возвращались на электричке от бабушки Маши из Заводска и папа читал газету, я снова начала его мутузить:

– Пап, па-а! Расскажи!..

– Ну чего?

– Чего-нибудь...

– Ладно... жил один Дурак...

– На той стороне?

– Почему на той? На этой. Жил возле самой станции. Мо-

жет, из-за того, что рядом всегда поезда ходили, он таким дураком и стал... голова-то пустая, а в ней эхом поезда... та-та-та, та-та-та... чего Дурак ни начнет делать, ничего не получается: с работы выперли, жена ушла, даже соседи с ним здоровались через раз... никчемная моя жизнь, решил Дурак, взял веревку, да хотел повеситься. Только ничего у него не вышло, веревка оборвалась, Дурак упал и ушибся, плачет, коленку потирает... он тогда взял да таблеток наглотался, водкой запил да залакировал трехнедельным борщом для надежности... ох, потом как скрючило его, как дристал он, что чуть трубы в туалете не прорвало... Тише, тише!

Мы с сестрой уже корчились, что тот Дурак на толчке, только от неслышного смеха, который, как знают все дети, самый могучий смех на свете.

Вышел Дурак из дому и решил: а пойду я на рельсы лягу, поезд-то всяко меня раздавит... пошел он к станции, только забрел аж туда, в тупик, где поезда не ходят, лег на рельсы, лежал-лежал, заснул, проснулся ночью, да и побрел домой... по путям шел, шел, все ругался да бога клял: «Господи, что ж ты мне, Дураку, смерти-то не подашь?! Что ж ты такой-сякой не слышишь меня?» И тут сверху его ка-а-ак шандарахнет!

– Молния?

Папа внимательно посмотрел мне в лицо:

– Какая молния? Мешок с барахлом, у мужика стыренным! А ты говоришь, что у тебя из другого уха не вылетает!

Я, поняв, как меня одурачили, сердилась:

– Это же из другой истории мешок! Так же нечестно! Разве они связаны?!

– В жизни, дочка, все истории связаны, – улыбался папа.

Потом я узнала много подобных двухчастных анекдотов, но таких, как сочинял наш папа, слышать мне не доводилось. Сам он их придумывал, что ли?

А Дураки и правда все живут в одной истории: один кидает – другому прилетает.

После смерти папы я иногда уходила гулять на ту сторону. Там все было так... иначе. Я проходила всю деревню до конца, до сгоревшего дома, за которым – только поле. По деревне много собак бродило. Я часто наблюдала за ними, как они собирались в стаи, бегали по улицам. Однажды ко мне подбежал пес, небольшой, остроухий, черный с черными глазами и закрученным хвостом. У меня в кармане куртки завалялся сухарик. Бросила его на землю – пес подбежал, обнюхал, проглотил... и тут со всех сторон ко мне потянулись другие собаки... Быстро окружили меня – и смотрели выжидательно. Им было обидно, что сухарик достался только тому черному псу. Я глядела на собак и не знала, что им сказать. Все разные: большие и поменьше, очень и не очень лохматые, с разными ушами и глазами, рыжеватые, белые в пятнах, серые. Только черный был один. Он смотрел на меня, как будто что-то знал. Они все что-то знали.

– Отпустите меня, пожалуйста! – сказала я. – Сухариков больше нет, простите! У меня умер папа. Вы его не знали. А

может, и знали. Он такой высокий, с темными волосами. У него вот тут, на щеке, шрам, – я показала где, – он в детстве кинул баллончик аэрозольный в костер. – Он вам мог что-то рассказывать. Он ходил сюда, когда покупал самогонку. Он несколько раз напивался, потому что его уволили. А потом он умер. Сердце не выдержало. Обидно, когда тебя увольняют ни за что.

Я говорила, а собаки слушали. Некоторые били хвостами. Большой грязно-белый пес наклонил голову. Черный все так же смотрел, не отводя глаз.

– А ну пшли! – послышалось вдруг со стороны. – Пшли вон, я сказала! – В воздухе что-то пролетело мимо меня, и раздался звук удара о землю, видимо, упал камень.

Собаки бросились в стороны. Ко мне приблизилась незнакомая бабка. Она была намного более скрюченная, чем наши (бабка Гордеева, например), и опиралась на кривую, суковатую палку.

– Спужалася?

Я кивнула, всхлипнув. Только сейчас я заметила, что плачу.

– Чего? Собаки не тронуть. Они сироток не грызут... Чего плакать? Тут не плачут, девонька, нельзя. Вон горелая хата стоит – она не любить, когда плачут. Ты попроси тихо и иди домой.

Я утерла лицо и пошла обратно, в Урицкого.

Во дворе покачалась на качелях. Тень прошла мимо, обер-

нулась. Как будто что-то сказать хотела. Она поседела и стала очень красивой, потому что пальто у нее было черное, а волосы серебряные. Она пошла к станции, как обычно. Тень ведь каждый вечер ходила к станции – и возвращалась...

И мне надо возвращаться, хотя не хочется.

– Где ты была? – набросилась на меня с порога мама.

– Гуляла.

– Десять часов! Ты в своем уме? Что ты делала все это время?

– Гуляла.

– Господи, да что ж ты за тварь бесчувственная! Видеть тебя не могу!

– Не видь!

Я крикнула – и в тишине после крика услышала плач сестры: она испугалась ссоры.

– Наташка, ты чего?! – Я подбежал, обняла ее. Она была такая теплая, такая маленькая. А я оставила ее и ушла гулять на ту сторону. – Ну не плачь, ну не надо, ну...

Я отнесла ее в нашу спальню, улеглась рядом с ней на кровать и начала рассказывать:

– Там, на другой стороне, есть сгоревшая хата... там жила когда-то ведьма... да, настоящая ведьма... в общем, кто переночует в той хате и не испугается ничего, тот больше никогда ничего не будет бояться... ни бояться, ни плакать, ничего...

Я обнимала сестру, но меня уже обступили выдуманные

существа, как те собаки, одной из которых я бросила сухарик. Они всегда это чуяли и всегда приходили, и разогнать их я никогда не умела. Только прижимала к себе сестру и говорила:

– Но если будешь в ней ночевать, и испугаешься, и заплачешь, то горелая хата превратит тебя в собаку. И ты будешь бегать потом всю жизнь и бояться людей и нападать на них, но даже когда будешь нападать – будешь бояться, бояться, бояться... Я не стану собакой. Я хочу быть с тобой. Ты же моя сестра. Не бойсь, а. Пожалуйста. Все хорошо, все хорошо, маленькая...

– Не ходи... куда... не ходи. Не ходи, страшно...

Черную собаку я потом видела и на нашей стороне. Не знаю, какие у нее тут были дела, но я сделала вид, что не знаю ее. И вообще я выключала себя, поворачивая ручку так, чтоб она не слышала моих мыслей.

Воспитание котят

Сестра любила есть из миски с мишкой, а я ее разбила. Нечаянно, но...

А ведь именно я придумала кормить сестру, приговаривая:

– Ешь, ешь быстрее, мишка под кашей задыхается!

Сестра давилась кашей, комья падали ей на подбородок, на слюнявчик, она обжигала язык, но, героически освобождая мишку из-под завалов, ела. Спасаемый смотрел со дна тарелки – круглый, коричневый Винни с горшочком меда в лапах.

Однажды я влетела в кухню, толкнула маму, мывшую посуду, – тарелка выскользнула из ее рук и разбилась. Теперь мишку было не спасти. С новой тарелкой (на дне был зайчик) трюк не сработал: то ли Наташка больше не верила, что зайка живой, то ли думала, что нет смысла спасать того, кто все равно обречен.

Сестра и ее подружки – нервная белобрысая Олька и сердитая пухлая Рушанка – вечно мне надоедали. Прибегали со своими куклами и говорили:

– Придумывай! – Это значило, что я должна сочинить им игру. А точнее: историю.

Я начинала:

– Жили-были три сестры... Изабелла, Розабелла и Кука-

рача...

– Не-е-ет!

Ну, конечно, нет. Сестры обязательно должны были быть равнокрасивы и равноумны, иначе между девчонками будет драка. Я придумывала разные истории: иногда в них кого-то убивали, например старую безглазую куклу, которая оставила завещание, таинственным образом пропавшее перед оглашением... иногда никто не умирал, зато город атаковала злая ведьма, которая превращала людей в свиней... (Я не боялась обвинений в плагиате, это ведь заказчицами контента были младшеклассницы, не знакомые с «Одиссеей».)

Я рассказывала начало истории, и девочки уходили играть. Я думала, что игра их увлечет и дальше кривая как-то сама вывезет сюжет... Но они всегда возвращались и просили выдумать дальше! Они доигрывали ровно до того места, до которого я рассказала, – и застревали. Ну или у каждой была своя версия, в которой именно ее героиня становилась звездой, и они не могли определиться, куда дальше вертеть историю.

Я откладывала книгу и продолжала рассказ. Плохо понимая, куда иду, я шла вперед, как движутся заблудившиеся в лесу на шум дороги – на невнятный шум, доносившийся откуда-то... не знаю. Просто шла. И история всегда кончалась.

Один раз сестра сказала мне:

– Они тебя любят больше. А их подруга – я.

Олька и Рушанка приносили мне подарки – конфеты, цве-

ты, оборванные с клумбы, заботливо опекаемой Таней Май, или вкладыши от жвачки.

– Не-ет, – успокоила ее я. – Они просто хотят, чтоб я придумала им какие-то особые истории в обход твоей. Но дудки. Для тебя будут самые лучшие!

Впрочем, потом мои истории им надоели. Малявки больше не мешали мне читать, но почему-то стало жаль, что не мешают.

Когда сестра училась во втором классе, они с Рушанкой впервые распробовали матерные слова. Шли по школе и хором скандировали все, которые знали (Да разве их много? Как раз хватит для второклассниц!), и попались прямехонько в лапы к одноглазой завучихе, ужасу нашей школы. Она сделала им записи в дневниках – красными чернилами – попросила родителей прийти в школу.

Сестра рассказала об этом мне. Без мата, зато с рыданиями. У нее волосы были заплетены в две косички. Казалось, каждая из них тоже роняла слезы, так она горько плакала. Оттопыренные уши горели. Нос пускал пузыри.

– Я-а-а плоха-а-ая...

– Слушай, а это после какого урока было? Не после третьего? Вы перед этим в столовую не ходили? – спросила я.

– Хо-хо-ходили...

– Слушай... – В моей голове уже начинало складываться кое-что. – А ведь вы были не виноваты! Вы ведь ели в столовке кашу?

Она кивнула.

– Это каша! Это была матерная каша! Знаешь, наверно, повариха, когда варила, немножко капнула себе на руку и обожглась – и ругнулась... А в каше, бывает, такое волшебное зернышко... иногда... которое слышит все слова, которые сказаны над ним, и запоминает их... и кто это зернышко съест, обязательно повторит эти слова...

Сестра смотрела на меня, забыв как дышать.

– Так быва-а-а-ает?

– Ну... ведь вы же никогда раньше не ругались. А тут: шли по второму этажу и кричали маты. Разве этому может быть рациональное объяснение? Какие еще гипотезы у тебя есть?

Сестра совсем растерялась. У нее не было гипотез. Даже если бы она знала, что это такое.

– А ма-а-ама поверит?

– А ты ей не говори!

– А... дневник?

– Давай сюда! – Я взяла дневник сестры и выдрала оттуда страницу: – Все! Никаких больше записей! – Я скомкала лист из дневника и засунула его в ящик письменного стола.

– А если... о-она... она позвонит...

– Я возьму трубку. У меня взрослый голос.

Но завучиха так и не позвонила. А если бы и позвонила, это бы очень мало значило: после той истории, через несколько дней, умер папа.

Смятую страницу из дневника я сохранила. Мне нрави-

лось воображать, как Наташка и Рушанка идут по второму этажу школы и наперебой орут маты. Им так весело, как будто они сбежали из лап злой ведьмы, одурачив ее. Но на самом деле они шли в лапы к самой страшной ведьме, и это была не наша завуч.

Я толкнула маму, тарелка выскользнула из мокрых рук и разбилась.

То лето я помню очень хорошо. Сестра перебралась в третий класс, а я – в седьмой.

Было очень много солнца, травы во дворе поднялись в человеческий рост, на детской площадке покрасили качели. У одной из кошек, живших в нашем подъезде, родились котята.

Сначала у них были слепые глазки и круглые ушки, и мама-кошка прятала их где-то высоко на чердаке. А потом глазки открылись, ушки заострились, проснулся интерес к миру – и котики стали выбираться наружу. Они ничего не понимали и всего боялись. Особенно человекoв.

Котиков было три существа неизвестного пола, но девочки сразу решили, что их зовут Наташа, Оля и Рушана. Наташа и Оля серенькие, а Рушана с рыжиной и покрупнее (ну, было некоторое сходство). Девочки ничего не понимали и ничего не боялись. Особенно котиков.

Как малявкам удалось их поймать, я не знаю, но восторгам не было предела.

Я сидела у подъезда на лавке и читала книгу.

– Смотри, Лена, смотри! – Наташка запеленала котенка,

как младенца. Маленькая головка торчала из свернутой वाली куртки. Котенок то и дело издавал душераздирающее «мяу», а она принималась его качать, напевая: – А-а-а, а-а-а, а-а-а...

– А моя спит, как ангелочек! – Своего «ребенка» Рушанка завернула так плотно, что он и пикнуть не мог.

– Ай-ай-ай! – Олькин котик вырвался на свободу, ткнув ее предварительно за палец.

– Так! – не выдержала я. – Вы что делаете, изверги? А ну быстро отпустите животных!

– Мы игра-а-аем! – начала сестра. – Мы же понарошку!

– Им больно! Неужели вы не понимаете, что им больно! Это же звери! Маленькие, как вы! А если бы вас так! Замотать и сдавить изо всех сил! Девочки, ну как вам не стыдно!

Я никогда не говорила таких слов. «Как вам не стыдно» – это учительское, противное. Но я ведь имела право это сказать! Имела же? Имела. И я говорила и говорила:

– Как вам не стыдно! Это же маленькие, беззащитные существа! Они хотят к маме! Она плачет и ищет их! Ходит и спрашивает всех: «Где мои дети? Где мои серенькие Наташа и Оля и рыженькая Рушана! Где мои дети?» И плачет по-кошачьи.

У Рушанки задрожали губы. Олька закрутилась вокруг себя, чтоб увидеть, где бродит безутешная мама-кошка, а Наташка молча распеленала своего «младенца», который прыгнул на асфальт и дал стрекача.

– Нельзя так поступать с животными! Мы же люди! Мы должны заботиться о них, а не мучить!

Рушанка шмыгнула носом, размотала куртку, и почуявший свободу котенок спрыгнул на землю и громко мяукнул, словно призывая весь мир в свидетели свершившегося преступления. Шерсть у него на спине стояла дыбом, наэлектризованная страхом.

– Мы больше не будем! – протянули три подружки. – Мы не хоте-е-ели!

С видом великого учителя жизни я, поджав губы, посмотрела на виновниц преступления:

– Я надеюсь, такого больше никогда не повторится!

Через неделю кто-то – о ком мы так никогда и не узнали – убил всех трех котят. Их тела с раздавленными чем-то тяжелым головками сложили в кучку возле подъезда.

Наташка, Олька и Рушанка ревели так, что о случившемся знали, наверное, даже на другом конце Урицкого. Даже несмышленная Лиза Май редела – просто, видимо, за компанию.

– Ко-о-отики! Ко-отики!

Я не знала, кого утешать.

– Тихо, тихо! – старалась перекрычать их. – Пожалуйста, девочки!

Рушанка рыдала басовито, Олька тоненько, Наташка как будто скулила сквозь зубы. Три пары глаз, брызжущих слезами горячими, как бензин, смотрели на меня – карие Рушан-

кины, серые Олькины и зеленоватые Наташкины. Смотрели на меня как на старшую. А я... А что я могла сделать? Когда надо было поучать с надменным видом, у меня нашлись слова, а вот утешить...

– Давайте найдем, кто это сделал, и я ему самому голову разобью! – сказала я. – Прямо вот так, возьму и... Или лучше колготками задушу! Буду так душить-душить, аж пока он не посинеет! А потом...

– Ко-отики! – пискнула Оля, на секунду замолчавшая. – Ко-отики!

И все три снова зарыдали. Они уже понимали, что месть – это не решение. Тупее было только сказать: родятся новые котики, забудьте этих, бывают в жизни огорчения. До такого я, слава богу, не опустилась.

Я обняла малых и заревела сама. Котики, котики...

Котиков мы похоронили недалеко от клумбы. (Таня Май разрешила.) Даже соорудили им что-то вроде памятника из кирпичей. Говорили, что их убили какие-то придурки с той стороны. У нас во дворе всегда и все вешали на них. Люди с той стороны били у нас стекла, ломали цветы на клумбах и разбрасывали мусор. Даже если кто-то срал в подъезде, то говорили, что это – точно с той стороны, хотя все понимали, что вряд ли кто-то стал бы так долго терпеть только ради того, чтобы нагадить у нас.

Я долго чувствовала себя ужасно виноватой. «Как вам не стыдно!» Угу. Поучать малышей я умела. А защищать и обе-

регать их? Они же тоже – котики...

Эту историю я вспомнила уже почти взрослой, когда на втором курсе университета вместо торжественных слов учеба началась со страшного известия: террористы захватили школу в Беслане. Мы следили за новостями, не веря происходящему ужасу.

Но тогда я уже не спрашивала: «Как же так можно было – там же маленькие, там же дети?»

Тем, с другой стороны, котиков не жалко.

Книги, которые нас выбирают

В библиотеку я ходила по воскресеньям, и это было прекрасно. Я выходила из дома и шла в сторону, противоположную школе. Мимо нашего длинного желтого дома, мимо прудика, где летом были утки, а зимой – лед, по которому вились цепочки следов мелкашей, переходивших пруд на спор, мимо кривых деревьев на берегу, страшных, как будто поломанных горем, мимо домиков-кособочек с палисадниками и теплицами, мимо смешного забора Помойного Деда, который насобирал разных досок, поприколачивал одну к другой – разной длины, фактуры, изгибов и извилин. Это был уникальный разнообразный забор, похожий на толпу людей. Дед раздобыл где-то голубую краску – и покрасил их все, попытавшись уравнять. Но мы-то знали, мы видели, что это все разные доски, и, проходя мимо, всегда улыбались, понимая, что разоблачили Дедову хилую хитрость. Я шла мимо клумб, на которых летом и осенью полыхало цветами, мимо лавок с бабками и качелек с детишками, мимо бездомных собак и кошек – черных, белых, рыжих и пятнистых, мимо машин, которые просто отдыхали, и мимо обретших вечный покой ржавеющих остовов, мимо мусорных баков и большого куста сирени – я шла в библиотеку, где меня ждал Илька Напельбаум, наш библиотекарь.

– Книга, – говорил он, – лучший друг человека. Пушкин,

наше, русское, всё, когда умирал, обвел взглядом книжные полки и сказал: «Прощайте, друзья!» Он сказал это своим книгам. Понимаете? А вы, барышня, в каком виде сдаете книги в библиотеку?

В семь лет я во внезапном порыве вдохновения раскрасила Пушкину волосы в зеленый цвет. И бантики розовые пририсовала. Пушкину шло. Но папа, увидев это художество, отругал меня и велел сказать в библиотеке, что книгу я потеряла. Он заплатил штраф, а я осталась без подарка к Новому году. Папа считал, что важно воспитывать, как он говорил, «привычку платить за свои ошибки».

Я любила книги. Тут, в библиотеке, выбирала разное – о приключениях, о животных, о том, как жили люди раньше и как будут жить через века. Я думала обо всех этих историях – и не только. Вот, например, люди, имена которых записаны в формулярах. Забытые в книгах закладки – обертки от конфет, билеты на электричку, открытки... Один раз мне попалась книга, между страниц которой спал высохший цветок. Он был так надежно вжат в страницу, что перелистывался вместе с ней. Он стал ее частью, и я побоялась к нему прикоснуться, потому что знала, что он рассыплется на хрупкие обломки, если я его задену. Я вкладывала в книги закладки, конфетные фантики, записочки и листья деревьев. Чтоб не терялась связь времен.

Илька Наппельбаум пил и был чужд утюгу и расческе. У него косил к носу левый глаз, а руки дрожали, и он сильно

слюнявил пальцы, когда надо было перелистнуть страничку формуляра, чтобы вписать названия книг, которые я брала в этот раз. Иногда я видела, как Илька заботливо и аккуратно подклеивал старые книги. Мне казалось, они расслаблялись у него в руках, как человек, когда ему делали массаж (рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, из последнего выгона вдруг посыпался горох...). Книги, переплет которых изнашивался совсем, он переодевал в новые обложки – одинаково рыжие, поверх которых приклеивал бумажки с указанием автора и заглавия. Тут руки его не подводили, видимо, сказывался опыт.

Илька, мне кажется, прочел все. Он всегда говорил что-то про книги, которые я выбирала:

– Барышня хочет «Американскую трагедию»? Хорошая книга, учит, что не стоит ходить на пруд с кем попало! Хотя утонуть в нашем пруду – и захочешь, не сможешь, утки засмеют. Хотите Гофмана? Таки будьте осторожны – ваша мамочка выйдет попить водички ночью, а вы примете ее за привидение и будете кричать так, что перебудите весь наш дом! О, а это книга... про художника, который думал, что счастье – это желтая краска... будьте осторожны с красками, деточка!

Я шла из библиотеки с полным пакетом и сердцем. Шла мимо клумб, похожих на библиотеки цветов, мимо лавок, похожих на полки, на которых рассажены бабки, мимо забора Помойного Деда, где под слоем краски прятались разные

истории – каждая особенная, хотя нужно было присмотреться, чтоб это заметить.

Мама орала на меня, чтоб я учила уроки, – а я читала.

Сестра мучила свою домру (да, сестра ходила в музыкальную школу, но об этом потом), и мама орала уже на нее – а я читала.

Пели и плясали в телевизоре маленькие и жалкие человечки – а я читала.

И мыши под полом, и недотыкомки в пыльных углах, с которыми тщетно вела войну мама, и всевидящее око лампы под потолком – все они знали, что мне плевать на их существование, пока не захлопнется книжка. А когда она захлопывалась, все обретали мир: в моей голове спасались от смерти отважные герои, примирялись влюбленные, которые напрасно подозревали друг друга в неверности, находили тихое пристанище гонимые. Я знала, что авторы хотели, чтобы каждый читатель сделал именно это. Потому что ведь никто так не бессилён, как автор, и никто так не всесилен, как читатель, особенно когда ему двенадцать лет или около того.

На папиной полке стояли его книги. Такие аккуратные, бравые. Папа был инженером и читал в основном техническую литературу. Много схем, чертежей и формул.

Однажды, где-то через год после его смерти, я подумала: если папа продолжал с нами жить все это время – как призрак – наверное, ему хотелось почитать?

Но ведь ему самому не открыть книгу, не перелистнуть

страницу!

И тогда я решила ему помочь. Иногда вечером я садилась в папино кресло, брала книгу с полки и начинала листать ее. Медленно, чтоб папа успел прочесть. Я не знала, улучшилось ли его зрение от того, что он стал призраком, но надеялась, что из-за моего плеча он сможет разглядеть написанное.

Иногда мне казалось, что что-то холодное касается моей шеи (мама считала, что по квартире из-за старых, разохшихся оконных рам гуляют сквозняки), и я думала, что это папа дает мне понять: пора переворачивать страницу. И я переворачивала. Порой я слишком надолго задумывалась, разглядывая эти чертежи и схемы, – придумывала, будто это карты городов из волшебной страны или что-то другое... Я не понимала того, что видела, но не понимать всегда интереснее, чем понимать, – можно строить самые разные версии.

Потом я как-то забыла об этой игре, и стопка папиных книг просто слилась с обстановкой нашей захлавленной квартиры.

Но вот странно – со временем мне все чаще кажется, что папа ближе всего ко мне был именно тогда, когда из-за моего плеча читал свои книги.

А еще я думаю о том, что жизнь для меня всегда будет чем-то похожим на те странные чертежи и схемы, – что-то стройное, кем-то распланированное и кому-то понятное – но не мне! – и навсегда останется придумывать объяснение, за-

ведомо ложное, всем этим ровным и четким линиям, языка которых я не знаю. И, только когда я стану призраком, папа, может, мне что-то объяснит. А может, все объяснит не он, а Пушкин с розовыми бантиками в зеленых волосах.

Лучшая подруга

Катькин папа сидел в тюрьме. Он должен был выйти не скоро, и мама ее к нему не ездила, а развелась с ним. Про него мы никогда не говорили с Катькой, потому что история была какая-то плохая. Я спрашивала папу, что там случилось, но он сказал:

– Сама понимаешь, что семь лет не дадут за то, что человек книжку в библиотеку не вернул.

Я только вздохнула: папа был, конечно, прав, за невозвращенную книжку схлопочешь только выговор от Ильки Напельбаума.

А что сделал Катькин отец, я не знала. И, несмотря на свое любопытство, опасалась узнавать.

В шестом классе я поняла, что Катька для меня лучшая подруга. До этого я, конечно, уже начала что-то подозревать, но всерьез не задумывалась, достойна ли эта носатая столь громкого титула. Тогда все наши девочки массово становились де-е-вочками, а я оставалась прямой и ровной, вообще безо всего. Мама рассказала мне про месячные и заставила носить лифчик, но класть мне в него было нечего, и он выглядел как два маленьких смешных кармашка. У Катьки уже были месячные и грудь. У толстой Илонки грудь вообще во-о.

Когда мы в раздевалке переодевались перед физрой, маль-

чишки начинали к нам стучать и ломиться. В прошлый раз Гордей и Каща втолкнули к нам самого мелкого мальчишку в классе – Славку, – и девчонки принялись верещать и хлестать его одеждой со всех сторон. Дверь мальчишки подперли изнутри, поэтому вытолкать Славку не получалось, ор стоял такой, что у меня заложило уши. Наверное, все веселились (хотя Славка покраснел и, кажется, плакал), но мне лично было непонятно: зачем орать? Этим летом мы все загорали у пруда – все: и мальчишки, и девчонки – в трусах и майках. А теперь вдруг те же самые девчонки стали делать вид, что случилось что-то необычное: Славка их трусы увидел, ой-ой. Мне не было стыдно, что кто-то увидит мои трусы. Я подозревала: никому на самом деле не стыдно, просто выпендрож такой – и меня это ужасно разозлило.

– Орут как дуры. В следующий раз буду переодеваться в коридоре, – сказала я Катьке. – А не с ними.

Катька то ли не расслышала, то ли не поверила, а я именно так и поступила. Перед следующей физрой встала возле раздевалки, достала форму и принялась стаскивать с себя кофту.

– Лен... – Катька подошла ко мне: – Ты... что?

– Попова, с фига ли?.. – Это подкатилась Илонка, а с ней еще несколько одноклассниц.

Я стояла перед ними в одном лифчике, а они смотрели на меня как на больную.

– Смотрите: Ленка! – Это был голос Гордея. – Ленка

устраивает стрип-шоу!

Я замерла. Достать из сумки футболку и натянуть на себя – дело нескольких секунд, но я вдруг остолбенела. Как будто их взгляды меня парализовали. Мне не было стыдно, я просто не понимала, что делать. Все они под одеждой были такими же, как я. Но смотрели на меня так, как будто не были. Как будто они срослись со своими платьями или рубашками и штанами. Это была такая огромная подлая ложь, что у меня перехватило дыхание.

– И Ксенофонтова! Уау! – крикнул кто-то из парней.

Рядом стояла Катька. Тоже в одном лифчике. Розовом, кружевном и очень даже полном, в отличие от моего. У нее взлохматились волосы, из-за того что она слишком резко стащила кофту через голову.

– Вот как надо!

Она подмигнула мне и послала толпе воздушный поцелуй. Я быстро нырнула в футболку, а затем – под юбкой, к огорчению собравшихся, натянула на ноги штаны. Катька поступила так же.

– Попова! Ксенофонтова!

Физрук стоял в отдалении. На его лице было обалделое выражение «я тут ни при чем, я тут ни при чем», тем более странное, что мужик он боевой и умел рывкать так, что слышно на весь зал. А тут едва шептал:

– Это что, мать вашу, такое?

– Мне не нравится в раздевалке, – сказала я. – Девчонки

орут.

– И мне, – добавила Катька. – Это акция протеста.

Физрук избегал на нее смотреть, а при звуке ее голоса вдруг резко покраснел.

– Дуры малолетние!!! – вдруг рыкнул он так, что я чуть не описалась. – Вы понимаете, что... – Он осекся и так ничего и не объяснил нам. – А если директор... Господи, да идите уже строиться! Марш в зал! Еще раз такое устроите – и родителей в школу вызову! Пусть они вам объясняют!

– Эй, Катька, а потрогать дашь! – Гордеев подскочил к Катьке и попытался ухватить ее за грудь, но она увернулась и врезала ему.

– В следующий раз – по яйцам дам! – крикнула она.

– Ксенофонтова! – Физрук был вне себя. – Гордеев! Шестой класс, построились! Быстро! Вы, обе, идите... вон, посидите, подумайте над своим поведением...

Мы сидели на лавке молча, пока физрук успокаивал класс. Потом началась игра в пионербол, все так увлеклись, что даже забыли о нас. Илонке прилетело мячом, она громко матернулась, из-за чего физрук наорал и на нее. Он был злее обычного, и поэтому всем попадало.

– Ненавижу, когда говорят «Не ругайся, ты же девочка!» – Я повернулась к Катьке.

Она сидела боком ко мне, так что длинноносость ее особенно бросалась в глаза.

– Скажи, физрук красивый со спины!

Я проследила, куда указывал ее нос.

– Spина как спина, – усмехнулась я (были б крылья хотя б, а так ничего интересного). – Тебе что, нравится физрук?

– He-е, у него морда красная. Spина его нравится. Прямо очень. Я бы хотела, чтоб у моего парня была такая спина, – она улыбнулась по-хитрому.

– Кать, а ты веришь во всякое такое... ну, в то, что если ты кому-то чего-то желаешь, то оно... ну, может сбыться?

– Чего?

– Кать, я сейчас загадала, чтоб у тебя обязательно такой парень был... со спиной, как у физрука! Прямо так загадала изо всех сил, от всего сердца!

– Ты, Лен, немного ку-ку. Придется с тобой дружить! – Она посмотрела на меня и засмеялась. И мне тоже стало легко и весело. Мы принялись комментировать, как наши играют, и смеялись так, что физрук несколько раз бросал на нас гневные взгляды, а потом приказал пробежать десять кругов по залу.

Перед каждым новым уроком физры все снова ждали, что мы с Катькой начнем раздеваться в коридоре. Но я больше так не делала. Мальчишки вскоре охладели к штурму девчачьей раздевалки. На самом деле им куда больше нравилось играть в «слона» или плевать друг в друга через трубочки крупной или жеваной бумагой.

После смерти моего папы мы с Катькой совсем сдружились. Часто прогуливали школу вместе. Сначала я прогули-

вала в одиночку, мне было стыдно, что я сачкую. И Катька, как выяснилось, тоже прогуливала одна. Но однажды мы поняли, что вместе веселее, и так увлеклись, что прогуляли почти всю третью четверть. Просто ходили по дворам, прятались в подъездах, говорили о жизни.

Катька тогда носила мягкие сапожки со сморщенными голенищами, короткую, только до талии доходившую желтую куртку-дутик и джинсовую мини-юбку. Большую часть Катьки составляли ноги. Длинные худющие ноги в черных капроновых колготках (всегда с затяжками, бессмысленно с ними бороться, когда столько возможностей зацепиться: парты в школе, подоконники в подъездах). И нос, острый, длинный нос, который она старалась держать по ветру.

Из-за того, что Катькины ноги мерзли, зимой мы часто прятались на лестничной клетке одного дома за школой (там на двери подъезда сломался кодовый замок).

У меня был длинный, до колен, темно-зеленый пуховик и белая шапка с помпоном. Когда умер папа (в ноябре), я отрезала помпон ножницами, потому что думала, что он слишком веселый для похорон, но мама пришила его обратно. Сама она надела черное пальто, а беретик с хвостиком-антенкой чуть-чуть сдвинула на сторону. Я помню, что все время смотрела на ее покрасневшее ухо и думала о том, как оно замерзло, наверное. Я не думала, что мама теперь сама будет все время мерзнуть, как это одинокое ухо. У меня онемела фантазия. Сестра сначала громко плакала, а потом вдруг пе-

рестала. На ней была ее обычная шуба-леопёрд. Сестра уже очень выросла, поэтому руки торчали из рукавов слишком заметно. Но денег на новые вещи у нас не было, у нас и на еду часто не хватало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.